Яков Минченков

Никифоров Семен Гаврилович

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…К чему бы он ни стремился, чего бы ни искал – судьба допускала его до конца стремлений, а в самом конце подсекала достигнутые успехи и разрушала все его достижения. Она невзлюбила Никифорова с самого его рождения и приуготовила ему несчастье уже в младенчестве. Это она подтолкнула руку его няньки, чтоб та выронила младенца, и свихнула его позвоночник, сделав Семена Гавриловича на всю жизнь физически недоразвитым и горбатым. Судьба дала ему ум и талант – и на каждом шагу мешала проявить свои способности. Она окружила его тяжелыми условиями жизни и, слабого, заставляла нести непосильный труд и биться над заработком с самого детства ради куска хлеба. Она же наделила Никифорова жаждой жизни, не дав ничего, чтоб утолить эту жажду…»

- Яков Данилович Минченков
-
- Примечания

Яков Данилович Минченков
Никифоров Семен Гаврилович

Вот уж именно, что у иных судьба бывает хуже злой мачехи. И кого она невзлюбит – нет тому от нее пощады.

Предо мной проходила жизнь товарища-друга Никифорова, за спиной которого постоянно чудилась его злая судьба.

К чему бы он ни стремился, чего бы ни искал – судьба допускала его до конца стремлений, а в самом конце подсекала достигнутые успехи и разрушала все его достижения. Она невзлюбила Никифорова с самого его рождения и приуготовила ему несчастье уже в младенчестве. Это она подтолкнула руку его няньки, чтоб та выронила младенца, и свихнула его позвоночник, сделав Семена Гавриловича на всю жизнь физически недоразвитым и горбатым. Судьба дала ему ум и талант – и на каждом шагу мешала проявить свои способности. Она окружила его тяжелыми условиями жизни и, слабого, заставляла нести непосильный труд и биться над заработком с самого детства ради куска хлеба. Она же наделила Никифорова жаждой жизни, не дав ничего, чтоб утолить эту жажду.

Чего стоила ему его короткая жизнь, какие невероятные усилия, труд понес он для того только, чтобы все завоеванное им оказалось для него не нужным и самому отойти в тень, остаться полузабытым обществом!

Никифоров вскоре по окончании Московского училища живописи был избран членом Товарищества передвижников. Талантливость его ярко выразилась в первых же вещах, выставленных на передвижной выставке.

Школу он заканчивал под руководством Серова, перед которым преклонялся.

Он многое взял от Серова, но сохранил и свою индивидуальность. У него не было той кажущейся легкости и артистического изящества в живописи, как у Серова, он был грубее, проще, более реалист, без налета модернизма, но зато крепче и глубже проникал в жизнь, в ее повседневную простоту и по своему восприятию натуры был более связан с передвижничеством.

Брал он нечто и от Малявина, увлекаясь его широким размахом в письме, его силой. Драма жизни Никифорова заключалась в том, что он хотел быть богатырем, подымать огромные тяжести, охватывать широкую могучую жизнь, выражать ее на больших полотнах в ярких и сильных образах,

хотел упиваться здоровьем, молодостью, силой, темпераментом и славой, но для всего этого у него не было физических средств.

Маленький, тщедушный, с еле бьющимся сердцем, он бросался на штурм и падал в изнеможении, проклиная свою слабость.

В том, что он делал, виден был его порыв, его талант и уже выработанное умение мастера. Он хорошо владел рисунком, лепил форму и бросал сильные краски, но всего этого достаточно было лишь для небольших сколков с жизни, для небольших картин с реальными образами, а Никифорову мерещилось уже то огромное, что он видел у великих мастеров, и он, не учитывая своих сил, хотел с размаху взбежать на вершины. И надрывался.

Когда его предостерегали, говорили, что надо беречь свое здоровье, свои силы ради самого дела, указывали, что своим страшным напряжением он может совсем уложить себя, Никифоров отвечал: «Ну и прекрасно! Лучше пасть сразу в бою, чем тянуть длинную канитель бесполезного спокойствия. Ворон вон двести лет прожить может, да только мертвечиной питаясь».

Честный по натуре, он был необычайно честен и в искусстве и откровенно сознавался в своем грехе, в фальши, допущенной им в работе. Показывая мне свою вещь, он обводил пальцем неудачное на ней место и говорил:

– Вот тут – замечаешь? Надо было разобраться в натуре, а я фуксом отделался, замазал чем попало. Увидит Серов – достанется мне!

Беспощадно относился он и к произведениям других, где видел плутовство в живописи, желание отделаться дешевкой или угодить вкусам невежественной публики.

Всякая картина на выставке была для него своей. По ней он читал все содержание, весь характер художника и представлял даже внешность его. По произведениям у него являлись симпатии или антипатии к личности автора.

Показывал на картину незнакомого художника:

– Вот за эту вещь бить мало! Смотри, как он тут изворачивается, лжет, угодничает. Подхалима! Я рожу его вижу: слюнявая, заискивающая. Если его увижу у нас на выставке, так рядом не сяду. Он редко даже улыбается! А этот парень хорош, – говорил Никифоров о другом, – за правдой гонится, не поймал ее еще, а не плутает, не льстит, малый честный!

Ему, бывало, говоришь:

– А не случается разве так, что видишь в картине умение, правду, а автор как человек не высоких качеств?

Семен Гаврилович соглашается и смеется:

– Бывает, да еще как! Гений и беспутство! Да только редко, а

мне-то что? Не детей же у него крестить! Буду знать только его произведения, а с ним говорить не стану. А только надо так, что ежели ты хороший человек, так не плутай и в искусстве, не будь «чего изволите» и не подсовывай гнили людям непонимающим. Сидишь вот у купца – милый человек, он тебе и то и се, угождает, а зайдешь к нему в магазин – там он всунет вещь совершенно негодную. Так-то и у нас делается.

Отдавшись всецело искусству, Никифоров делил и людей как бы на две половины: люди искусства, творящие – и все остальные, служащие натурой, объектом для их творчества. От первых он требовал всех высоких качеств, а вторые могли быть какими угодно и как натурщики могли представлять интерес даже при уродстве.

Он находил, что запираться в своем искусстве художнику все же нельзя, как нельзя создавать для себя монашеской кельи или одиночной камеры, а надо вращаться в широкой жизни, в стороннем от искусства мире, набираться его пыли и вытряхивать ее потом на холст.

Говорил как будто по секрету:

– А знаешь что? Надо бы поплавать в этом, как говорится, житейском море, чтоб изучить даже окраску его, а иначе, сбоку припека, не поймешь его колорита и не разберешься в том, чем оно насыщено. Черт побери! Грешить даже над этим миром, и так, пожалуй, вернее попадешь в рай, где бывших грешников сильнее любят, чем праведников. Что там говорить! Пушкин, Толстой, Некрасов не отличались добродетелями в жизни, а как перешли в свой мир, то выходили в люди. Тут есть как будто грязелечение.

Он задумывался над такими вопросами, мучился, не умея разрешить их, а непосредственно поступать не мог в силу, прежде всего, своей физической слабости, больного организма.

Он прошел уже полосу учения, крайней нужды и лишений. Завелись у него даже деньги от продажи картин на выставках, где его начали замечать собиратели картин.

Однажды весенним вечером в Москве заходит он ко мне, наряженный в новый костюм.

– Ну, что? Как я сейчас, прилично выгляжу?

– Как жених! А по какому поводу?

– Вот что: поедем-ка сейчас куда-нибудь… Ну, как там: в кабаре, к Яру или в другое место, где много разных людей.

– Но разные люди и по домам сидят.

– А ну их! Пускай сидят. Из этих ничего не выжмешь, а надо таких, что годились бы для холста. Понимаешь?

Очутились мы в саду, в «Аквариуме». Там было все, что полагается для праздного прожигания жизни.

Поскучав перед открытой сценой, мы перешли в ресторан, где ужин тянулся до рассвета и где тоже была сцена, на которой проводились соответствующие ужину и публике развлечения.

Нашли свободный столик у самой сцены. Никифоров заказал ужин, вино. Кругом была настоящая публика кафешантанов: молодые саврасы, почтенные прожигатели жизни, женщины с подмостков и со стороны. Против нас сидело два претолстых субъекта с заложенными за воротник салфетками! Рядом с ними разряженные веселые дамы. Дальше море голов за столиками, между которыми шныряли измученные официанты и проходили парами крикливо разодетые женщины. За столиками все жевало, чокалось звенящими бокалами, шумело, иногда подсвистывало и подпевало знакомым мотивам, которые ползли со сцены в уши, и все казалось беспечным и празднично веселым.

На сцене беспрерывно сменялись номера. Певицы в платьях, усыпанных блестками или выкроенных точно из рыбьей чешуи, пели двусмысленные или совершенно откровенные песенки, танцевали, приподымая и точно встряхивая на наши головы пыль со своих юбок. Пели и в такт стучали каблуками молодые кавалеры, иностранцы во фраках с одинаковыми физиономиями и совершенно одинаковыми напомаженными проборами. Семь одинаково наряженных девиц катались на одноколесных велосипедах, солидная дева скользила по натянутой стальной узкой ленте и посредине ее сбрасывала свое платье, оставаясь в одном трико. Чем дальше, тем больше лилось вина в ресторане, тем острее преподносились номера. Певицы, уже кричали хриплыми голосами и взвизгивали при решительных действиях их кавалеров на сцене: танцовщицы, почти совсем голые, тужились выводить брюшными мускулами танец живота, словом – все шло, как полагается в местах забвения от житейских забот, от морали и всех условностей. Но наше положение было довольно глупое. Без всякой предварительной выпивки и закуски мы набросились на ужин, как не евшие несколько дней, бутылки с вином стояли непочатыми. Официант несколько раз подходил к нам, наклонялся в ожидании наших дальнейших требований, а с нас было много и того, что стояло на столе. Официант уходил с миной презрения. Никифоров даже вздыхал.

– Вот черт возьми! Чего бы в самом деле спросить? Вина? Так и эти бутылки некуда вылить. Хотел было в кадку с пальмой – заметят, смеяться будут, а то и оштрафуют.

Велел принести папирос, а потом сигар и, не курив от роду, пускал вверх клубы дыма.

– Ну что, – спрашиваю у него, – удовлетворен ты, что сюда попал?

– Не сожалею. Ты только посмотри, как напротив толстый работает челюстями. Кости хрустят, должно быть, рябчиков жрет. А вино! Во какими бокалами в себя, как в бочку, льет! Лицо что биллиардный шар блестит, глаза как у кота прищурены, а над верхней губой редкие волосики торчком торчат. Ну, разве не прелесть? Жаль, нельзя зарисовать – еще побьют, а экземпляр первосортный. Мне досадно, что я вот такой… а то бы, ей-богу, подсел бы к ним, выпил бы вместе, потерся около них, набрался ихнего и потом принес бы все в свою мастерскую и вытряхнул на подрамок с холстом. Что? Здоровая бы вещь вышла! Вот оно, наше пекло – не придуманное!

– А для чего оно?

– Как для чего? Для того, что оно есть. Для чего солнце светит и дождь идет? Для чего цветы цветут и грязь невылазная? И что же – изображать одни цветочки-василечки или по-передвижнически назидательно доказывать, что знания полезны, а много есть вредно? Нет, ты вот это могуче, ярко передай! Это жизнь, а не прокислая мораль! Ах, зачем я не здоровенный мужик, как вон те, что жрут. Как бы я хотел все делать, как они!

– Послушайте, господин, – послышался женский голос в нашу сторону, – у вас, кажется, есть свободные стулья?

Стояли две дамы.

– О да, да! – поспешил Никифоров. – Даже свободные места за столом. Силь ву пле, медам! Пожалуйте в нашу компанию!

Смотрю я, что дальше будет. Никифоров шепчет:

– Вот и выход, можно еще что спросить, чтоб не занимать стола непроизводительно.

Требует приборы и угощает дам ужином и вином, сам тоже делает вид, что пьет тост: – За здоровье прекрасных дам и их достойных кавалеров!

– Как? Значит, вы и за свое здоровье пьете? – спрашивают дамы.

Никифоров тихонько отвечает:

– Не хочу вводить вас в убыток: не упускайте других знакомств, у нас только ужин.

Те переглядываются, улыбаются и просят подарить им на память о прекрасной встрече по цветку.

Желание их исполняется, Семен Гаврилович одаряет каждую яркой розой. Они уходят.

Мы сидели до рассвета, когда на сцене сверх всякой программы делалось уже непонятно что, а в зале несколько раз затевалась ссора и слышался звон разбитой посуды.

Шли домой, дворники начинали уже мести улицы.

С бессонья рассвет был странным: кругом все бело и вяло,

бесконтурно.

– Я выпил все же две рюмки, – говорит Никифоров, – и, кажется, даже пьян.

– И что же ты получил от всего этого? – спрашиваю у него.

– А то, что познал, что они сильные в своей пошлости, а мы слабые в своей, как бы назвать… добродетели, что ли. У нас всего только наполовину. И еще думаю, что болезни лечатся сильными ядами, хотя в малых дозах. Нет, зачем меня в детстве уронили на землю? О проклятие!

Никифоров все более и более развертывался на выставках. Его стали приобретать музеи и Третьяковская галерея. Он приезжал в Петербург на время выставки, которая определялась обыкновенно сроком от масленицы до пасхи, жил у меня. С ним ходили мы на собрания передвижников и на вечера товарищей-питерцев. Им интересовались, как талантливым молодым членом Товарищества, и немного побаивались его подчас едкого языка.

Он ни перед кем не заискивал и, хотя в деликатной форме, но говорил горькую для иных правду, которая не всегда нравится художникам при оценке их картин.

Часто проезжали и проходили с ним мимо Академии художеств. Семен Гаврилович выражался по ее адресу:

– Не знаю, люблю я эту громаду или ненавижу? Я в ней не учился и, может, слава богу, что ее избежал, но когда войду в ее залы, увижу плафоны Рафаэля, почувствую ее строгий классицизм – готов умиленно стать на колени среди круглого зала и преклониться перед ее величием, а в то же время хочется закричать: спасайся, кто может! Она засасывает тебя своей красотой, диктует какие-то непреложные законы и закрывает действительность, нашу красоту, часто грубую, мужицкую, но здоровую красоту, своим золоченым занавесом. Сколько народила она талантов и сколько удушила их в своих узких каменных коридорах.

Он передавал свои переживания и мысли с большим напряжением речи. Облечь мысль словами, построить правильно речь было для него чрезвычайно трудно. Он с трудом находил подходящие слова, волновался от этого на собраниях, и так сильно, что у него после почти переставало работать сердце и чернели ногти.

Я привык к его речи, легко улавливал его мысль, дополняя сказанное необходимыми словами или изменяя его обороты речи.

Если трудный разговор происходил дома, он даже падал на постель и молча лежал, пока у него не приходило в норму сердце.

Было бесконечно жаль его в такие минуты, и я старался воздерживаться от спора, от волнующих разговоров и больные

вопросы переводил да шутку. Но это не всегда удавалось; он догадывался, что его отводят от его темы, не сдавался, а иногда даже еще более от этого приходил в волнение. Иногда я брал его руку и указывал на ногти.

– Почернели? – говорил он. – Все-таки погоди, дай кончить.

А кончить ему было чрезвычайно трудно, так как кругом многое выводило его из равновесия. Старые передвижники, привыкшие уже восседать в разных комиссиях, собраниях, вносили и на свои товарищеские собрания, по их мнению, серьезную деловую ноту, в действительности же мертвую бюрократическую закваску чиновничьих высиживаний и словопрений. Как говорил Никифоров – академическую тянучку.

Стали раз на собрании обсуждать вопрос, как поднять качество выставки, возбудить к ней большой интерес и увеличить ее посещаемость. Предлагались различные искусственные меры, ни к чему не приводящие.

Никифоров не утерпел. С трудом подбирая слова, делая необычайно длинные паузы, он предложил записать в протокол необходимость таких мероприятий: обязать подпиской всех членов и экспонентов к следующей выставке написать самые что ни на есть гениальные произведения, а от публики через полицию потребовать, чтоб она ежедневно посещала выставку. За неисполнение этого виновных лишать святого причастия.

Обиделись все, перебивали его на паузах, а он все-таки говорил и требовал дать ему окончить. Я дергал его за рукав, указывал на его ногти – ничто не помогало. И даже дома, катаясь на кровати, он продолжал:

– Ненавижу их всех! Непогрешимые папы римские! Душ наших гасители! Что придумали: меры, видишь ли, к поднятию! Отчего бы не придумать мер, чтоб у них дети родились красивыми и с глазами цвета по заказу! Протокол! Надо бы еще нотариуса пригласить! Погоди, я им еще не то скажу, я им покажу!

Говорил, что называется, со скрежетом зубовным, грозил кулаками, а лицо его выражало только страдание, и в глазах не светилось злобы. А потом он затихал, становился задумчивым и неожиданно разражался смехом. Только еще сильно билось у него сердце.

Он исполнял свои угрозы и привозил все более яркие и сильные картины и этюды, сколки с жизни, главным образом деревенской.

– Подожди, – говорил он мне, – я им отолью вот еще какую пулю!

– Кому?

– Да всем им, милым товарищам, черт бы их побрал!

– За что же ты их бранишь и что хочешь сделать?

– Браню за то, что они большие, а я маленький. А что сделаю? Назло им построю себе настоящую мастерскую в деревне, как у Малявина, и напишу во какую вещь! Пускай лопнут с досады и зависти! Я уже деньги собираю. Кому бы душу продать – не знаешь? А то черта упразднили, и не к кому теперь за кредитом обратиться.

И он сделал свое: написал портрет, еще что-то, собрал деньги и удрал в Рязанскую губернию, в деревню.

Надо сказать, что в это время у него была уже подруга его жизни, художница Н., преданная и ценящая его талант женщина. Она жила в поместье своих родственников, и там же начал сооружать свое художественное гнездо Никифоров.

– Знаешь? Ну их к черту! – говорил Семен Гаврилович. – Поедешь к милым знакомым на этюды и в вечной зависимости очутишься: тогда-то вставай, тогда ложись, ешь, когда им надо: то можно, а этого нельзя делать. А поселиться прямо в деревне – грязь невылазная и сплошные неудобства. Построю свои стены и верхний свет пущу, делай без помехи, что хочешь. Я даже мастерскую пополам разгорожу, чтоб ни Н. мне, ни я ей не мешали.

И построил, а потом начал говорить и другое:

– Надо бы еще вот этих, наших меценатов – побоку, чтоб не зависеть от них, не думать об их вкусах, а писать только для себя и не продавать даже ничего, чтоб всю свою физиономию сохранить и видеть все, что ты сделал.

– Как же это может быть, когда и для постройки мастерской тебе потребовался карман мецената?

– А так, что надо заниматься чем-то другим для своего существования, ну, хоть торговать спичками, яблоками у бань, но чтоб не торговать искусством, то есть, значит, своей совестью. Но тогда времени на искусство не будет хватать. Как же быть?

Мастерская Никифорова в деревне была на хорошем месте. Чисто русская природа, кругом роща, вблизи деревня, разнообразная живая натура. Материала для картин хоть отбавляй. И Никифоров стал работать запоем.

Какие сверкающие зимки появились у Никифорова, деревенские лошади на водопое у проруби, коровы на летнем припеке у стойла, скот в хлевах, людской труд в поле и праздник – ярмарка! Все излагалось живо, правдиво, без малейшей натяжки и выдумки.

Старикам-передвижникам приходилось уже считаться с ним как с новой серьезной силой и, не перебивая, слушать его с

запинками и паузами, смелые и подчас задорные речи.

В своих слабостях Никифоров откровенно сознавался, говорил иногда:

– Меня, знаешь ли, мучит часто зависть. Вот эту вещь просто убрать с выставки хочется, мешает она мне, лучше моей, мне так не сделать! Ей-богу, завидно!

И смеялся над собой.

Не повезло ему однажды на вечере у Киселева. Молодежь затащила его в свою игру: каждый должен был назвать себя кем или чем-либо, и на него будет написано мнение присутствующих. Никифоров назвался гражданином.

– Известно, – добавил кто-то, – не всякий гражданин может быть передвижником, но каждый передвижник обязан быть гражданином.

Семен Гаврилович вынул записку на себя и прочитал: «Гражданин-то ты гражданин, да только безличный, беспотомственный и непочетный».

Записка, как, и следовало ожидать, принадлежала Киселеву.

Когда мы шли домой, Никифоров сердился, но и смеялся:

– Уж этот Александр Александрович! Выдрал-таки меня! Вон на какого гражданина перевернул. Я знаю титулы: личный и потомственный почетный гражданин. И из этого он мне ничего не оставил. А главное – беспотомственный! Ну да ладно! А насчет почета мы еще поговорим!

Устраивается выставка в высоком с верхним светом зале Общества поощрения художеств на Морской.

Кипит работа, стучат молотки, обойщики, не слезая с высоких складных лестниц, искусно передвигаются вместе с ними по паркету. Волков и Бодаревский спорят за места для своих картин. Артельщики подносят новые картины. Говор и шум. Завтракают все на ходу здесь же, на выставке, холодной закуской с неизменными горячими сосисками. Степенный вахтер с развевающейся седой бородой и золотой медалью на шее подает чай.

А по окончании дневных работ к вечеру все идут обедать в ресторан «Вена» на улице Гоголя. Там в обоих залах полно народу. Посетители – художественная богема: артисты, художники, писатели, иногда адвокаты.

На стенах рисунки, шаржи художников, автографы писателей – все подарки авторов ресторану, у которого не было хозяина, а все дело вела артель официантов.

Кормили хорошо, за рубль пять блюд, да каких: порций не было, ешь сколько можешь вместить; официанты то и дело подносят блюда для повторения. Провинциалы-художники с

робостью переступали порог ресторана и почтительно проходили между рядами столов, за которыми восседали лощеные питерцы с удивительными проборами на головах, в изящных смокингах, адвокаты во фраках, при больших деловых портфелях, изящные дамы с особенным петербургским тоном в костюме. Здесь не было шума московского трактира, не было вольностей и пьянства. Здесь и приезжая «широкая русская натура» укладывалась в правила европейского поведения и говорила почти шепотом. Только петербургские «известности», постоянные посетители ресторана, позволяли себе некоторое выпячивание из общей массы и, привстав из-за стола, подымали бокал, чтобы выпить за здоровье особы, сидящей в противоположном конце зала, но делали это без нарушения тишины и благопристойности.

Никифоров недолюбливал этот ресторан и его публику.

– Хорошо-то оно хорошо насчет жратвы и всего прочего, да только ешь и оглядывайся: так ли сел, да так ли взял вилку. И публика тоже: смотри, какие лощеные, и гениями дуются. А посмотри на них в работе – гнильцой отдает. Одна видимость. Здесь все – интеллигенция от искусства, в которой есть лоск, а таланта не видно. У нас в Москве и в трактирчике скорее талант найдешь, хоть и без полировки.

После обеда через час или два все уже торопились на собрание Товарищества или к кому-либо из товарищей на его вечер. Изо дня в день – шумные дни на выставке и бессонные ночи. Никифоров жаловался:

– Должно, я помру здесь от этого угара. Надо бы в Москву да за работу, а что ни говори – и тут интересно. Жизнь кипит, и не мешает насмотреться на этих аристократов, авось пригодится. Все, брат, интересно!

Никифорову совсем повезло: распродал свои вещи, одну в академический музей, и еще получил заказ на два портрета. Он остался в Петербурге на все время выставки. Выставка создавала условия для существования художника, возможность для него поехать куда-либо на этюды, не гоняться за заказами и работой, не связанной с искусством.

Положение художника зависело от различных случайностей и прихоти покупателей.

Никифоров указывал на одного мецената:

– Посмотри на его булавку в галстуке – чего она стоит. Ведь за нее одну можно было бы прожить и проработать несколько лет.

Действительно, булавка стоила, вероятно, дорого. Она как бы символизировала своего хозяина, так как изображала паука из какого-то темного камня с огромным бриллиантом вместо головы.

– А пожалуй, из этого тоже ничего не выйдет, – продолжал Никифоров. – Тут он отдаст паука, а в другом месте для чего иного обдерет других. Жаль, не понимаю ясно экономики, мало читал и не знаю, как быть, а так тоже нельзя, чтоб вечно от пауков зависеть. Я вот пишу портрет, и хочется, знаешь, что сделать? Взять раму с холстом да со всего размаха так ахнуть по голове заказчика, чтоб он по плечи проскочил сквозь холст! Уж одно бы выражение его чего стоило, когда он очутился бы с подрамником на шее среди продранного холста.

Были мы у Киселева. Шел разговор о том, где кто намерен работать этим летом. Киселев и Дубовской собирались ехать на Кавказ, где у Киселева была своя дача-мастерская. Киселев особенно на этот раз восхищался морем, горами Кавказа и всею прелестью Кавказского побережья.

Вижу, что с Семеном Гавриловичем неладное делается: он хочет сказать что-то и не решается, начнет слово – досадливо отмахнется рукой и замолчит. Только вздыхает и усмехается.

Пришли домой, лег он на кровать, подложил руки под голову, смотрит в потолок, промычит что-то и улыбается загадочно. Спрашиваю:

– Что с тобой? Чему ты посмеиваешься?

– Чему? А вот чему: они там у Киселева раскудахтались: я на Кавказ, и я туда же. Мы вот питерцы, профессора, без Кавказа на свете жить не можем, а вы, москвичи, шантрапа разная, в Рязанской губернии: телушек пишите.

– Ну так в чем же дело?

– А в том, что и я им штуку выкину, нос утру: возьму да тоже на берег моря поеду, да еще так, что там и мастерскую построю. Да на балкон выйду и так же, как Киселев, закричу: «И я видел море! Радуйся, наше подполье!»

– Постой, Семен Гаврилович, ты лучше попроси Киселева прочитать «Золотую рыбку» Пушкина, вещь назидательная!

– Это что, «не хочу быть крестьянкой, а хочу быть столбовой дворянкой»? Верно, именно так! И вот, чтоб мне перевернуться на этой кровати, если не поеду я в Крым и не построю там мастерской! Накось, выкуси! Буду говорить: видали ваш Кавказ, у нас в Гурзуфе почище будет! Ей-богу, назло им, из зависти построю!

– Ну, а деньги где возьмешь?

– Деньги? Пауку душу заложу! Портрет барыни напишу, из старухи молодую сделаю, да еще красавицу, им это нравится, а заплатят хорошо. Жрать не стану, а деньги соберу!

Вижу, парень не на шутку задумал, и теперь его не удержишь. Воля у него была большая.

А Никифоров разошелся еще больше.

– Я их всех сейчас ненавижу! Члены Академии, вершители искусств! Умеют только придворный пирог делить да чеки подписывать, а наш брат на лучший конец в почтовой кассе на сберегательной книжке четырнадцать рублей держит. Здесь молодые фраки понадевают да петухами около барынь ходят, а светила светились, светились, да и просмолились, коптеть стали и старые свои имена треплют, пишут, как на аукционе, разную дребедень.

– Семен Гаврилович! Посмотри, – говорю, – на свои ногти.

– А что же, через них у меня и ногти чернеют. Не могу этого слышать и видеть, назло им все буду делать, назло во какую вещь закачу! Брошу Рязанщину и прямо под солнце, в Крым, и бух в море!

И закатился смехом.

Вижу, что отлегло у него, но знаю, что он вступил уже в новую полосу переживаний, с которой его теперь не свернешь.

Наступила весна. Мартовскими усилиями и старанием дворников зима была согнана с улиц. Не стало снега. С Николаевского моста было видно, как, готовясь к ледоходу, люди длинными шестами с железными наконечниками кололи и прогоняли под мост размежеванный лед. По торцовым мостовым мягко катились на резиновых шинах экипажи.

На Морской по солнечной стороне беспрерывной волной двигалась в послеобеденный час праздничная публика, радуясь чуть заметному теплу весеннего петербургского солнца.

На Конногвардейском бульваре начинался вербный торг. В длинных рядах палаток и лотков кишел народ, стоял неумолкаемый говор, переплетались зазывания продавцов, писк, шипение и хлопанье игрушек, а в воздухе на нитках плавали цветные шары.

Мы с Никифоровым ехали мимо шумливого торжища. Рядом бежал мальчик, надувая резиновый тещин язык: подуешь – из малого шарика моментально вырастает нелепая длинная штука и опять свертывается.

Никифоров попросил:

– Останови, пожалуйста, извозчика, дай, куплю тещин язык!

– На что тебе? – спрашиваю.

– Да как же, сегодня собрание передвижников, съедутся наши старые мудрецы, уставят бороды и будут ворочать делами да придумывать меры возрождения, а тут я им из-под стола как надую тещин язык, да по очереди то одному, то другому, да под нос, да под нос каждому! Ох, дай купить, останови, пожалуйста!

Но уже проехали бульвар, а я был уверен, что он не

остановился бы перед применением и тещина языка в решительную минуту…

В последнее время Семен Гаврилович возвращался домой по вечерам мрачный.

– Что с тобой? – спрашиваю у него.

– Ах, – говорит он, в отчаянии бросаясь на постель, – и зачем родители не отдали меня, как хотели, в ремесленники! Делал бы я сережки, кольца, научился бы водку пить, и было бы хорошо. А теперь вот художником стал, портрет министра пишу и как в аду киплю: не выходит, да и баста! Затеял еще на гипсовом холсте писать, чернеет, как сапог. Перед министром стыдно, подумает: связался я с мальчишкой, а он министерского носа написать не может, давно бы дело было кончено, если б позвал хоть Бодаревского. Должно, Невы мне не избежать, брошусь в нее с моста вверх пятками, и будете поминать Симеона новопреставленного.

– А знаешь, – говорю, – есть у меня секретное средство прочив твоего несчатья. Только в нем риск – пан или пропал. Или портрет твой совсем погибнет, или будешь писать его легко, как по свежему холсту. Только вот условие: чтоб ты перестал волноваться и ругать питерцев и Академию.

Семен Гаврилович взмолился:

– Брат родной, научи! Спаси мою душу! Не только ругать никого не буду, а всех, даже каменных сфинксов, что сидят перед Академией, перецелую!

– Ладно. Возьми большой флакон скипидарного лака, вели министру нос зажать, чтоб не задохнулся от скипидара, и залей сплошь обратную сторону портрета лаком. А там видно будет.

Послушался, сделал, как я ему посоветовал, обождал день, чтоб лак просох, и возвратился с первого сеанса после этой операции сияющий.

– Век, – говорит, – тебя не забуду, спас ты меня от гибели: обновился, как чудотворный образ, лик министра, краски выступили и не проваливаются куда-то в бездну. Вижу – министр повеселел и, должно быть, деньги к расплате готовит.

Я уезжал в Москву. Никифоров провожал меня на вокзале со слезами на глазах.

– Ты уезжаешь! Там, в Москве, уже сухо, тепло, березы распускаются, а здесь каменные стены домов еще не обогрелись, и мне надо писать портрет редактора. Как бы и от него не пришлось в Неву прыгать. Эх, лучше бы мне в золотарях быть!

Он собрался с деньгами, обобрал, как говорил, пауков, министра и редактора, – и стремглав полетел в Крым. Там, в Гурзуфе, подыскал и купил маленькое местечко и принялся

строить мастерскую. Ушел весь в эту заботу. Писал мне: «Создаю себе точку опоры, откуда начну вылазки на весь свет божий. Вычищу палитру от рязанской грязи, вымою кисти и размахнусь солнцем и бирюзовой водой. Скоро, скоро возьму Крым за рога!»
Однако ему не удалось потягаться с Крымом. Там подстерегала его судьба и серьезно погрозила пальцем. Сердце у него стало так плохо работать, что он не мог ходить на этюды. Он возвратился в Москву, и здесь доктора нашли, что здоровье его в Крыму значительно ухудшилось от физической работы на стройке и хождения по горам. Мастерскую он построил, но ничего из Крыма не привез. Пришлось на зиму снова вернуться в рязанскую деревню. Ему не дает спать Малявин:

– Как это он может писать такие большие картины, а я нет? Берется за большую картину «Прасол»: здоровенный детина купил корову с телушкой и, сияющий, с улыбкой до ушей, идет со скотного двора.

Тип в картине передан верно – живой человек, но того, чего хотелось Никифорову – малявинского здорового размаха – конечно, не было. Чувствовалась потуга на большое.

Я ему говорил:

– Ну чего ты тянешься за здоровенным Малявиным! Ведь он тебя одним пальцем к земле придавит, разве у него сердце такое, как у тебя? А ты у себя последние силы выматываешь из-за одного только размера картины. И нет в этом никакой нужды, так как и в малых вещах можно сделать большое.

Никифоров как будто послушался, поехал еще в деревню и привез небольшие, но очень хорошие этюды крестьян за зимней работой. Все было сделано по-никифоровски: легко, просто, искренне, без всякой натяжки.

Поехали в Петербург. «Прасола» увидел Серов; посмотрел внимательно, а потом показал пальцем вниз, где Никифоров хотел широким письмом щегольнуть и лихо, большой кистью, одним мазком завернул полушубок прасола, – сказал: – Не закручивай!

Никифоров со смехом говорил потом:

– Нет, брат, Серова на мякине не проведешь! Меня этот полушубок и дома мучил: залихватская пустота. Вот и он высек меня за него.

Все вещи Никифорова были проданы, один «Прасол» никого не затронул. Семена Гавриловича это задело.

– Значит, в этот раз я не допрыгнул с «Прасолом», – говорил он. – Но погоди, на этом не остановлюсь, отдохну да опять что-либо большое затею. А неудачу мне и телушка, что с прасолом позировала, предсказала. Писал я картину на дворе, в мороз,

оставил большую палитру с горой красок и ушел погреться в избу, а телушка все краски и слизала. По этой ли причине или от чего другого, но только она подохла.

Лежит вечером Семен Гаврилович на кровати, отдыхает от сеанса, читает письмо из Москвы и, вижу – злится. Усмехнется, вздохнет, досадливо махнет рукой, а потом пускается в рассуждение:

– Скажи, пожалуйста, отчего это так, что сколько ни писали, сколько ни говорили умные люди о значении искусства, а до сих пор не вдолбили настоящего представления о нем не только в головы обывателя, но даже большой части интеллигенции и наших учителей, которые в школах всем задом брыкаются на искусство?

– Не все, – говорю, – большинство ходит в кино.

Никифоров рассмеялся.

– Во-во, им чтоб в трубу все вверх ногами летело да в воду прыгало, а вот послушай, что сестренка пишет. У нее, скажу тебе, талант к музыке, большой из нее толк выйти может. Так вот учительница-естественница запрещает ей заниматься на рояле, потому что музыка может помешать ей в естественных науках. А у девочки такая охота, что она к подругам бегает, чтоб поиграть, так как своего инструмента нет. Думаю теперь купить ей пианино. Нет, ты подумай, эта каракатица хочет удушить у человека потребность, которую признают люди не ей чета, а такие гиганты наши, как Менделеев, Павлов, Бехтерев, Бородин, да, наконец, и все человечество. Она, протоплазма, не знает, что Фидий, Микеланджело, Данте, Шекспир, Гете, Бетховен, Вагнер, Глинка дали человечеству не меньше, чем Архимед, Ньютон, Дарвин и другие великаны науки. Верно я говорю?

– На этот раз – стопроцентная истина.

– Так вот, я пишу сестренке, чтоб она сказала учительнице, что наоборот: естественные науки мешают ей заниматься музыкой. Пускай выгонят ее из гимназии, дорогу ей найдем, а учительнице я сам еще напишу: «Уважаемая Семяпочка! Счастье человечества не в одних собачьих кишках и бараньих мозгах живет, которых и мы не отрицаем, но и в мыслях и чувствах людей искусства». А то что ж? И напишу, хоть редакция неважная. Им ведь кажется наше дело пустым и чрезвычайно легким, один козерог выразился даже так, что для искусства большого ума не надо, а достаточно одного таланта. Я1 брат, показал одному, насколько легко работать нам, чуть было не угробил его.

– Ты мог угробить?

– Еще как! В Крыму один чиновник пишет пейзажи и продает непонимающей сезонной публике. Известно что: синее море,

зеленые кипарисы. Полное невежество, а уже самоуверенность. Приходит ко мне. «Вы, – говорит, – художник, читал о вас в газетах, так я хочу взять у вас несколько уроков для своей, так сказать, шлифовки». Понимаешь? – шлифовки, когда человек еще ни а, ни бе не понимает. Ладно, думаю, пошлифую тебя. Уроков, говорю, не даю, но ради шлифовки готов заняться с вами.

Пошли мы с ним на берег моря, стал он писать камни и воду. Положит мазок, а я говорю: «Не так, всмотритесь – тон не тот, проверьте его с отношением к камню. Возьмите точное отношение неба к скалам. Каждый мазок кладите без повторения и верный, в упор». Он туда-сюда, хочет отделаться попроще, смазать как-нибудь, а я не даю, наседаю, шагу не позволяю сделать в отсебятину. И так часа три. Пот с него градом. Кончился сеанс, побежал он домой опрометью. На другой день приходит ко мне его жена и от имени мужа просит обождать с уроками несколько дней. Спрашивает еще, сколько они должны мне за урок. «А что, – говорю, – с вашим мужем?» – «Ох, – отвечает жена, – у него после урока все разбито, слег, и ночью даже бред был». – «Это, – говорю, – всегда бывает при шлифовке. Денег я не беру за это дело, а только вы не пускайте вашего мужа брать уроки, так как идущие в шлифовку после третьего сеанса на стену лезут или начинают жен бить, ежели семейные». С тех пор ни мужа, ни жены я больше не видел.

Выставка в Петербурге закончилась. Назначено было последнее товарищеское собрание. Едем туда с Никифоровым, и я прошу его дорогой:

– Ты хоть на прощание не спорь со стариками, чтоб чего не вышло.

– Ладно, – отвечает он, – там видно будет.

А я чувствую, что у него в голове что-то засело.

На собрании опять поднялся проклятый вопрос о мерах улучшения качества выставки, о замене драпировки материей другого цвета и других мероприятиях, которые, конечно, не могли изменить общего положения вещей.

Даже Репин с некоторым пафосом заявил:

– Действительно! Это положительно необходимо! А то – скажите, пожалуйста, – все этот коричневый фон, это однообразие! Ведь надо же, наконец!..

А Маковский подхватил:

– Конечно, необходимо! – И, обращаясь к Никифорову, как бы с укоризной продолжал: – А то вот, батенька мой, все говорят: не то, не то, а сами не знают, что надо.

– А что надо? – спросил, приподымаясь, Никифоров.

– Как что? Надо, чтоб, во-первых, все поняли, что это

необходимо, что без этого нельзя.

– Без чего нельзя? – спрашивает Семен Гаврилович.

Маковскому тон его, видимо, не понравился. Сверля глазами своего оппонента, он начал горячиться:

– Нельзя без того, чтоб не поднять выставку, не заинтересовать публику и не привлечь новые силы.

У Никифорова тоже сверкнули глаза. Тяжело дыша, с перерывами, он заговорил:

– Улучшить… да… привлечь… ну да… а чем улучшить и кого привлечь? Разве вот мы… ну да… молодые, не шли к вам, а вы вот… не гнали нас?.. Разве вы нас, безбородых, слушаете?

Раздались протестующие голоса: «Он говорит не по существу! Зачем это?»

Но Никифорова нельзя уже было удержать. Он продолжал:

– Не по существу? А где ваше существо? Где ваши заветы? Да, ваше значительное? Разве не разменялись на мелочи?.. Вот… не торгуете уже в розницу?

Голоса:

– Какое право он имеет так говорить?

Никифоров с болью в голосе:

– Да, имею, потому что… ну вот, мне больно, и я тоже люблю и хочу, чтоб было хорошо. Вы ведь были молоды и по-новому творили, а теперь новое не признаете и вот ищете выхода, а надо, чтоб вы, как прежде, любили свободу, чтоб сами были молоды и с нами вместе, и мы тогда горы опрокинем! Вы полюбите нас, дайте дорогу молодости, и тогда придут к вам и тогда… да – тогда все будет наше, родное, и не умрет, а вас полюбим. А если нет – так не будет жизни, все рушится, и вам, да, вам достанется одно проклятье!

Он выкрикнул последнее слово, упал на стол и забился в рыданиях.

Произошло замешательство, его стали успокаивать, а Репин произнес серьезно:

– А знаете ли? Он прав, нам о себе надо бы подумать, а не так – искусственно.

Я увез совсем разбитого Никифорова с выставки. Дома Семен Гаврилович, казалось, совсем пришел в себя, успокоился, но, улегшись в постель, вдруг заявил:

– Когда так, то так! Ни на копейку меньше!

– Ты что еще задумал? – спрашиваю.

– Шабаш! Все побоку: и Рязанщину и Крым!

– Ну, а дальше что?

– А дальше то, что еду я в Рим.

– Подожди: ты, кажется, еще не пришел в себя и перепутал,

где Рим и где Крым.

– Говорят тебе, в Рим, и не перепутал: река Тибр, Форум, Колизей, Леонардо да Винчи, Виа Аппиа, акведук, термы Каракаллы, римский папа и макарони. Справься по энциклопедии.

– Нет, ты угорел!

– Как хочешь – подохну, а поеду!

– Ну, если подохнешь, то не поедешь, но ты хоть скажи, в чем дело?

– Изволь, теперь я уже могу говорить. Слушай. Крым оказался – сущая брехня! Все в нем есть и ничего нет. Опошлен. Дамочки и проводники, а в парках румынские музыканты завывают. Силы нет, мармелад. В другом месте надо себе зарядку делать, а там только заканчивать, под солнцем и на фоне моря. И надо сил набираться. Все мы жиденькие, у стариков силишек только на анекдоты осталось да на кислую мораль. Большого нет ничего, разве еще у Репина да Сурикова. А большое надо, и ему следует учиться. А где учиться? Можно в Вавилоне – Париже, либо в Риме. По-моему, в Париже все готовый рецепт для современности: рецепт символизма, импрессионизма и всего, чего душа пожелает. Разжевал – и готово дело. А в Риме не то. Там великаны от вечного. У них рецепта нет, и для современности так прямо ничем не поживишься, но их размаху, монументальности, умению впитать в себя дух эпохи и отношению к ремеслу искусства поучиться следует. Они не чета нам, сладеньким да кисленьким. И поеду я туда, к ним, и там разверну такое, чтоб здесь все надулись от зависти и сразу лопнули.

– А сам ты не лопнешь от натуги?

– Ну что ж, по-твоему лучше воронье долголетие влачить? В Рим, и никаких чертей! – закончил Никифоров со смехом.

Я ему напомнил: «Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольною царицей». Но, кажется, он не расслышал и уже засыпал.

Никифоров собрал денег с выставки, и случилось еще так, что в Московской школе учреждена была стипендия на посылку за границу талантливого ученика. Стипендию присудили Никифорову как молодому художнику, недавно бывшему учеником школы.

И вот однажды вечером со Смоленского вокзала тихо тронулся поезд, увозя за границу слабое тело Семена Гавриловича и его сильный протестующий дух.

С ним поехала и оберегавшая его Н.

Из-за границы Никифоров писал:

«Италия, Рим! Когда же вы перестанете быть великой

притягательной силой? Я не смогу описать того, чем дышу. Самый воздух насыщен ароматом искусства, как стены храма запахом фимиама. Чтобы описывать впечатление от великих мастеров, надо быть таким же великим поэтом, как они художники. Я чувствую только усиленное биение сердца. Титаническая сила духа Микеланджело, таинственная задумчивость Леонардо, торжество с некоторой пряностью Рафаэля, краски Тициана и болезненная нежность Боттичелли! «Примавера»! Какая тонкость, изящество! Если увидишь моего «Прасола», скажи ему, что он дурак! Чему он смеется? Над собой смеется! Довольно нам кланяться священному лаптю. Лучше рожу умыть, причесать патлы да приложиться к ручке одной из граций Боттичелли. Вот так надо рисовать! А вообще – не стоит и говорить об этом, а скорее самому приниматься за работу, где атмосфера способна заразить тебя великим, хотя бы ты думал по-новому, не по-ихнему. И я уже заквасил тесто, а что из него испеку – видно будет».

В Риме он с энтузиазмом набросился на работу. Чего только не переписал! Случайные наброски, этюды-пейзажи, натурщицы, лошади. Все писано на воздухе, под солнцем. Появились у него новые, сильные, южные краски, еще большая свежесть. Он добился разрешения писать конных солдат на их учении, чтобы изучать движение лошадей при беге на скачках через препятствия. Написал даже итальянского короля, едущего в экипаже на выставку, уделив внимание главным образом лошадям.

Все этюды его сводились к одной цели: написать картину, названия которой я от него не слыхал, но видел потом огромный холст с намеченными углем фигурами. Идея картины мне представлялась такой: воздух, свет, море, брызги волн, молодость, сила, здоровье, веселье. Все должно было быть полно движения и ликования жизни. Как раз то, чего жаждала слабая, больная натура Никифорова и чего она была физически лишена. На картине намечалась в брызгах морских волн игра женских тел и лошадей, поднятых на дыбы.

А когда уже было собрано много материала, когда художник приступил к осуществлению своей думы, своих радостных переживаний – судьба мягко сказала: «Ну, довольно с тебя и того, что помечтал о жизни». И сдавила ему грудь чугунной доской.

Сердце его стало сдавать, и врачи посоветовали ему отправиться домой, на родину.

Его подруга уложила все им сделанное и повезла больного в Россию, к себе в деревню. На первой же русской станции в руки Никифорова попала газета, где он прочитал о смерти своего

учителя Серова, которому он так верил и которого так ценил. Стало ему совсем плохо.

Не пришлось ему пожить и в деревне, откуда отправили его в московские клиники, где я повидал его в последний раз.

Он находился в общей палате. Лежал вниз лицом, упершись локтями в подушку.

Я старался говорить с ним полушутливо, избегая всяких волнующих вопросов, и он отвечал в таком же тоне. А потом добавил:

– Нас, больных, как видишь, много, и воздуху порядочно, а мне все же не хватает. Иногда отсюда уносят вот в ту комнату… – (кивнул назад головой) – это тех, которые… – и замолчал.

При прощаньи он поднял голову, смотрел на меня детски умоляющими глазами, как будто просил пощады для себя: милости, крохотку из того, чем другие пользуются в таком изобилии и чего ему никогда не доставалось.

Я взглянул на ту страшную темную комнату, куда уносят… и мне показалось, что там уже его судьба готовит ему место на жесткой кровати.

А жизнь идет. В Петербурге снова стучат на выставке молотки, вешают картины, спорят из-за места. Среди шума и стука раздается чей-то голос:

– Товарищи, собрание! Важное известие из Москвы!

Передвижники спускаются с верхних галерей и собираются в центральном зале. Дубовской вынимает телеграмму.

Волков волнуется:

– Кто там стучит? Тихо!

Выставка замерла. Дубовской объявляет:

– Вчера вечером не стало нашего славного товарища Семена Гавриловича. Он сгорел в своей непосильной работе. Почтим его память.

Головы обнажаются, и группа товарищей-передвижников стоит в задумчивом безмолвии.

Осенью, направляясь по делам на юг, заехал я по дороге в деревню, где была мастерская Никифорова и куда звала меня Н., чтобы показать его римские работы и посоветоваться об устройстве выставки всех его работ. А мне и без того хотелось побывать в уголке моего друга.

Наступили уже ранние морозы, листва опала. Грустно стояли обнаженные деревья на фоне серого неба, предвещавшего снег. Замерз и пруд. Н. водила меня по местам, где работал Семен Гаврилович. Я их узнавал по его этюдам и картинам.

Здесь у пруда летом под солнцем лениво дремало стадо; сараи, на которых в зимних этюдах сверкал снег; скотный двор,

откуда выходил веселый прасол.

Холодно было на дворе, холодно и в мастерской с верхним светом, построенной любовно, с расчетом на долгий, упорный труд.

А мне думалось: вот на что пошли усилия Никифорова, вот куда он вложил результаты упорного труда. И для чего? Чтоб все осталось брошенным, и верхнее окно, освещавшее картину художника, теперь стало никому не нужным и бессмысленно смотрело в пустое небо.

Ночью уезжал я на станцию. По промерзшей дороге ветер гнал снег. Трясло до боли. В дальней убогой деревне мелькали редкие огни, и в поле выла собака.

Было не по себе. Казалось, что на свете делается все не так, как бы следовало.

Весной, на пасхальной неделе, в Москве в Училище живописи энергичной Н. была устроена выставка работ Никифорова. Время уже было позднее, многие любители искусств уехали из города, посетителей было мало, и выставка проходила мало заметной. Для большой публики, требующей законченных вещей, с интересующим ее содержанием и выражением в ясных и понятных формах, выставка не представляла большого интереса. Она рисовала путь развития таланта от первоначальных и классных работ художника до выработки в нем мастера-живописца и подготовки его к дальнейшему большому искусству. Но весь огромный труд художника – его искренние, правдивые наброски, этюды, небольшие картины из русской жизни, блестящие итальянские этюды, последний его размах в живописи и рисунке и замысел его картины остались не понятыми и не оцененными тогдашней публикой.

Подруга Никифорова решила увековечить память Семена Гавриловича памятником на кладбище и обратилась к скульптору А. С. Голубкиной.

Выбор был удачен. Большой талант, Голубкина со своей чуткостью к глубоким и страдальческим переживаниям человека могла понять Никифорова и его жизненную драму.

Голубкина взялась за эту работу и, когда вылепила памятник в глине, пригласила меня посмотреть.

Я не был раньше знаком с Голубкиной.

Дверь в ее квартиру оказалась незапертой. Первая комната сплошь была заставлена цветами, и стены завешаны скульптурными работами в гипсе: барельефы, маски, части тела, в углах стояли бюсты.

Какая-то женщина, небрежно одетая и подпоясанная веревочкой, поливала цветы. В общем, вид ее был как у средней

прислуги в небогатой семье.

– Скажите, пожалуйста, – обратился я к ней, – можно ли видеть Анну Семеновну?

– А вам зачем надо ее видеть? – спросила женщина.

– Я по делу памятника Никифорова, хотел бы говорить с Анной Семеновной лично.

– Ну так бы вы и сказали, – пробасила женщина. – Голубкина я сама.

Оригинальничает, подумал я и ответил в том же тоне:

– А вы бы с самого начала назвали себя, и дело было бы короче.

– Ага! Пожалуй, что и так, – согласилась Голубкина и повела меня в мастерскую, где лепила памятник.

Никифоров был представлен сидящим в глубоком раздумье, сбоку к нему прижался ягненок. Это дополнение мне не понравилось, и я решительно запротестовал.

– Семен Гаврилович, – сказал я, – действительно, всегда думу думал и был болезненным человеком, но не был кротким агнцем, ему не подходит этот символ. Он, где надо было, становился бунтарем и решительным борцом.

Голубкина мрачно выслушала и согласилась:

– Когда так – пожалуй, не надо, – и стащила с памятника еще сырого в глине ягненка.

Для лица Никифорова она искала фотографий и рисунков. Н. принесла ей рисунок Репина, но она с ним никак не соглашалась: «Это, может, и Никифоров, но не художник Никифоров, каким мы его знаем по его вещам». Голубкина вложила в выражение лица Семена Гавриловича то, что она читала в его произведениях, в его последних мечтах.

Памятник вышел замечательным. Его отлили из цементной массы с мраморной крошкой и поставили на кладбище. Образ художника был воскрешен рукой другого художника.

Но и здесь его подстерегала злая судьба.

Поздним осенним вечером она, сговорившись с ветром, злорадно раскачала большую березу, что росла над могилой Никифорова, сломала ее у корня, ударила деревом по памятнику и разбила его на мелкие куски.

Примечания

Никифоров Семен Гаврилович (1881–1912) – живописец, портретист и жанрист. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, позже был там же преподавателем. Выступал на передвижных выставках с 1904 по 1911 г. (член Товарищества с 1905 г.).

Н. – Натальина Ольга Николаевна (род. 1878), художница. Училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Участвовала на выставках: передвижных (с 1906 по 1912 г. в качестве экспонента), Московского товарищества художников и др.

… одну в академический музей… – Картина С. Г. Никифорова «Кухня» была приобретена в 1907 г. с 34-й передвижной выставки в музей Академии художеств.

Посмертная выставка произведений С. Г. Никифорова была устроена О. Н. Натальиной в 1913 г. Были представлены 302 работы.

Голубкина Анна Семеновна (1864–1927) – скульптор. Училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в петербургской Академии художеств и у О. Родена в Париже. Автор скульптурных портретов (К. Маркса, Л. Н. Толстого, А. Н. Толстого и др.), ряда произведений, в которых стремилась выразить идеи социального освобождения и мощь поднимающегося на борьбу рабочего класса («Раб», «Идущий человек», «Железный», «Рабочий»), и др.